

## **Часть 2. В ожидании приятного финала**

### **ГЛАВА 1. АРТИСТ**

Заслуженный артист Максим Платонович Зимин стоял перед зеркалом и репетировал воздушный поцелуй. Сегодня юбилей, и такое тоже нужно учесть. Сорок лет, черт возьми! Как время-то пролетело! Говорят, нельзя праздновать 40-летие, мол, плохая примета, но Максим презирал предрассудки. Особенно глупым ему казалась замена слова «последний» на слово «крайний», введенная в обиход, кажется, летчиками. Ну, хорошо! Это их профессиональная примета, но в остальном — чушь собачья! Дико звучит — «крайний танец», «крайний поцелуй», «крайняя любовь», «крайняя жертва» и т. д. Люди, однако, нововведение приняли и широко используют в последнее, пардон, крайнее время.

Зимин — это его сегодняшняя фамилия, псевдоним. А фамилия Зябкин была его настоящей, «девичьей» фамилией, до бракосочетания с большим искусством и богемой. По мере возрастания популярности росла и необходимость поменять такую смешную фамилию на что-то более серьезное, простое и вместе с тем — запоминающееся.

Вот так Максим Зябкин стал Зиминим. Родители, слава богу, не обиделись.

Максим вспомнил, как в поисках новой фамилии рассматривал совершенно комичные и нахальные варианты. Он их не выдумывал, а узнавал из ТВ и газет. Как-то раз увидел по телику девушку с фамилией Мальвинина и подумал: хорошо бы так, для прикола, чисто поржать, взять себе артистический псевдоним Буратинов. А правда, «артист Буратинов» будет звучать клево и привлекательно. Дальше — больше, прочел в газете какой-то репортаж с подписью «Христофор Бармалеев». Хороша была бы компания — Мальвинина, Бармалеев и Буратинов! Максим быстро понял, что Буратинов — это уж слишком! И все обернулось тем, что закрепился псевдоним Зимин, и теперь, когда он стал очень популярен, все его знали только как Зимина.

Просто, без выпендрежа и легко запоминается.

Но вчера в Министерство культуры его вызвали, что называется, по паспорту, а не по псевдониму, то есть как Зябкина, а не Зимина. А вызвали для вручения почетного звания «Заслуженный артист РФ». Потом был прием, похожий скорее на фуршет. Максим знал от товарищей, ранее удостоенных этого звания, что ничего подобного

при вручении обычно не бывает, но в этот раз среди награжденных был какой-то крупный деятель, но не культуры и искусства, упаси бог, а отрасли значительно поважнее — экономики, однако каким-то боком связанной с музейными ценностями. То ли он выкупил какие-то яйца для Родины, то ли спонсировал ремонт оперного театра, Максим не знал, но чествованием именно этого деятеля

объявлялся и сам фуршет, и определенный круг гостей на нем. И там Максим с удивлением узнал, что он — любимый артист некоторых чиновников высокого ранга, которых он ранее видел только по телевизору, а также их жен, и еще — присутствующих членов Государственной Думы и, разумеется, их жен тоже, короче, любимый артист начальства.



И почему интересно, думал он, они со мной на «ты» разговаривают? Почему вообще наши руководители всем «тыкают»? Вероятно, это наследие самодержавия досталось им, вот именно, от царей. Все царю говорили: «Вы» и «Ваше Величество», а он — всем подданным — «ты». Вот и наши госслужащие и бывшие генсеки тоже ко всем обращались на «ты». Ко всем! Хоть ты Ростропович, хоть Зимин. Главное ведь чувствовать себя если и не царем, то близко, чувствовать, что можно, никто не возразит.

Вообще, в последнее время удача Максиму улыбалась, предложений было много — и в кино, и в театре. Даже на телевидении предложили вести новую программу под названием «Алчность». Максим, смеясь, отказался. Совсем с ума посходили! Можно ведь и серию такого рода программ запустить. А почему бы нет? Выпустят телешоу «Алчность». На очереди будет интеллектуальное шоу «Глупость», затем скандальное шоу «Подлость» и, наконец, — эротическое, с привлекательным, рейтинговым названием «Без стыда». Позвонивший человек был удивлен чрезвычайно отказом Максима. Этот отказ никак не вписывался в его уже сложившееся представление о мироустройстве: что за идиотизм! Такие серьезные деньги, а он... Но Максим, как и в юные годы, отнесился к деньгам и богачам без трепета. К его чести, надо сказать. Не изменил себе ни разу!

А воздушный поцелуй пришлось репетировать. Ведь так опозориться на «Кинотавре» нынешним летом на красной дорожке, неуклюже чмокая себя в пальцы и неорганично помахивая этой рукой в сторону поклонниц по бокам дорожки, — ужас, стыд и срам! Так что надо было, хочешь не хочешь, срочно обрести этот навык светской непринужденности и легкого, подкупающего своей наработанной скромностью обаяния.

Все было в масть последнее время: и премьера фильма, и новая роль в театре, и еще одно новое и очень интересное предложение в кино, и даже подоспевшее к юбилею звание. А сам юбилей будет в театре, которому Максим служит верой и правдой вот уже 18 лет, не изменив ему ни разу, хоть и звали в более знаменитые и престижные. Тут все свои, и применять к ним эти актерские прикрасы в виде формальных приветствий не потребуются. Впрочем, черт его знает! Бывают такие жизненные эпизоды, что необходимо и вытаскивать из арсенала общения что-то нелюбимое, в том числе и воздушные поцелуи.

Вот, например, гастроли были в позапрошлом году в Израиле. Рано-рано утром Максим вышел

на балкон своего гостиничного номера, а гостиница в Нетании была прямо на берегу. Между отелем и морем был только песчаный пляж и кафе. Совсем рано там лучше всего, солнце не так печет. Он вдруг увидел там, в море, что-то вроде тусовки. Значительная группа старых, судя по виду, евреев стояла по пояс в Средиземном море. Они никуда не плыли, не ходили, вообще не передвигались, только неподвижно стояли в белых и разноцветных панاماх. С балкона отеля они выглядели как грибы с диковинными шляпками или странные цветы на поляне. И тут кто-то из них, очень, наверное, дальновзоркий, обратил внимание на одинокую фигуру на балконе отеля. В Израиле ведь показывают наши фильмы, да к тому же Интернет, а Максим уже давно был персонажем медийным, на телеэкранах появлялся часто, а посему — узнаваемым. И дальновзоркий еврей узнал. Что-то, темпераментно размахивая руками, прощепетал согражданам, и, представьте, вся группа стала кричать, приветствовать артиста вместе с приглашающими присоединиться жестами. Максим и присоединился. Его радостно окружили, все говорили по-русски, и Максим узнал тогда, что никто из них плавать не умеет и что у них это своеобразный сбор. Эти пожилые люди практически каждое утро приходят в море общаться друг с другом, разговаривать, стоя по пояс в воде, о детях, внуках, о ценах, о размерах пособий и, конечно, о политике. И так стоят час-два.

Максим искупался, попрощался с такими милыми пожилыми людьми и поднялся к себе. Затем снова вышел на балкон. Группа здоровья все так же стояла по пояс в воде. Они вдруг, как по команде, посмотрели вверх, опять увидели Максима и опять стали махать руками. Только теперь уже в каждой руке было по панаме. Разноцветный прощальный привет панамами смутил Максима и растрогал. И вот тут, конечно, понадобился воздушный поцелуй, который Максим и исполнил от всей души. Панамы в ответ взлетели вверх, и побережье огласилось многоголосным криком «Лэ-хаэм!».

Максим не хотел никакого юбилейного торжества с банкетом, речами и тостами. Он свою актерскую среду знал досконально и слегка презирал. Однако продолжал в этой среде благополучно существовать и работать. Почему? С его-то принципами? Он сам часто задавал себе этот вопрос. Ответы были настолько примитивны, что уважения никак не вызывали. «Стыдно признаться, — говорил себе Максим, — но, может, я попросту привык к своему насиженному месту как к старым, стоптанным домашним тапкам. Выбро-

сидеть жалко, уж очень привык». Однако он всегда старался держаться подальше от всего того, что неизбежно сопутствует высокому и чистому искусству, чтобы оно не считало себя таким уж стерильным. Вся эта закулисная похабщина — интриги, зависть, сплетни друг о друге, борьба (а то и война) за роль, любовницы главных режиссеров, которые уже сами, без режиссеров, распределяли роли и формировали репертуар, и прочее, и прочее. И если даже на самой сцене творилось высокое искусство, то вокруг царил пошлость и глупость. Точно так же, как с подмосковными озерами и реками: само озеро — красота такая, что хоть сейчас на открытку, а по берегам!.. Черт знает что! И театральная жизнь не давала Максиму возможности относиться к театру свято. И надежным щитом от закулисного мусора служила ирония, взгляд на себя и коллег как бы со стороны. Он выработал в себе привычку ничего не воспринимать в театре слишком серьезно, особенно павлиньи повадки актеров и не всегда натуральные истерики актрис. Ту самую «ярмарку тщеславия», в которой центральным пунктом было — узнают ли тебя на улице и встречают ли твой первый выход в спектакле аплодисментами. Он и сам, репетируя сегодня перед трюмо воздушный поцелуй, внутренне издевался над собой: мол, что, скептик, а сам-то какой? Сам ведь туда же! Но нет! Все же не совсем так, все же он, Максим, из другого теста. Не такой, как его партнер по сцене Кирилл, понимаешь ли, Волконский (тоже, кстати, псевдоним), который недавно в гримерной разродился выстраданным монологом — прорвало, видать, парня.

— В театре вообще, — говорит, — никто ни на кого не обращает внимания. Каждый, ну как-нибудь, представляешь, артист сосредоточен только на себе. Я уже не говорю о певцах, те только себя и слушают. Диск свой кому-то из них подарить, и что ты думаешь! Он у них так запечатанный и валяется. У одного из звезд этих в гостях я свой диск на полке и заметил! Только о себе все и думают! — И тут случайно у Кирилла вырвалось: — А хочется, чтобы обо мне!

Нет, конечно, Максим был не такой! Есть ведь показательная разница в псевдонимах — Зимин и Волконский! Ну ясно же — кто есть кто! Волконский! Граф, голубая кровь, и простой, как полено, Зимин... Или Буратинов!

Или вот другой коллега — Генка Попов, который сегодня на банкете будет у меня тамадой — игривый такой, озорной, кокетливый артист с объемной плечью в полголовы, но с оставшимся хилым чубчиком спереди, который он аккуратно причесывает вниз, на лоб маленькой, плоской

расчесочкой. Она у него всегда в нагрудном кармане пиджака, а в боковом кармане или в сумке — еще одна, щетка, которой он причесывает остальное. «Ну почему, — думал Максим, — у кого меньше волос, расчесок — больше, чем у всех. У других — одна, у этого, почти лысого, — минимум две! Впрочем, это мелочь». А вот дружку, с позволения сказать, слабость товарища Максим постичь никак не мог. Она была объяснима лишь все тем же болезненным актерским тщеславием. Суть в том, что Генка, в сущности крепкий средний артист на вторых ролях, всю жизнь с детства обожал кинозвезд, зная, что он не может даже приблизиться к ним. Ему совсем нечем было их заинтересовать, чтобы познакомиться. Вот и не знакомился... до поры... Он ждал, пока они состарятся и станут никому не нужны, кроме прежних поклонников. И уже не надо было ждать. У него существовал целый список пожилых, блиставших прежде актрис, которых уже давно никто не снимал в кино, и они доживали свой век в печальной безвестности. И вот тут-то дождавшийся своего звездного часа Генка заводил с ними романы. Он не страшился прослыть геронтофилом, да никто и не знал об этом его аномальном хобби. А его непомерное тщеславие грела сама мысль, что он в одной постели с дамой, которая не сходила с экранов и страниц журналов и газет целое десятилетие, а то и больше. Его это возбуждало настолько, что и с потенцией осечек не было. Ну как же! Закроешь, бывало, во время соития глаза — и в воображении всплывает пленительный образ партнерши, но двадцать лет тому назад в фильме таком-то...

Большинство покоренных старушек привязывались к Генке, он был их последней любовью, и таким образом Генка окончательно разбивал им сердца, но покидал их вполне удовлетворенный. Таким образом он брал реванш за все, чего не мог достичь в юности.

Казалось бы, маньяк или того хуже — элементарный подлец, однако он объяснял Максиму свое противоестественное и безжалостное по отношению к бывшим звездам поведение. С Генкиной точки зрения все было логично, и выходило даже, что его поступки благородны, что он своими романами с одинокими старыми актрисами оказывает им гуманитарную помощь.

— Я, — говорил Генка, — для них — последний, может быть, в жизни лучик света. Я подарил им на склоне лет неделю, две, месяц — радости! А так, без меня — вообще ведь ничего!

По-своему он был, конечно, прав, но все равно, запах тления и морального разложения от та-

кой психиатрической склонности не пробуждал в Максиме желания подружиться с Генкой ближе, чем в театре, хотя он и был в остальном порядочнее, добрее и лучше всех других. К тому же всякие маниакальные фантазии посещали Генку периодически. Какие-то чиновники не дали какую-то лицензию на прокат какого-то самостоятельного моноспектакля какому-то Генкиному приятелю. Возмущенный Генка шепотом поведал Максиму о том, что хорошо бы организовать ряд убийств душителей талантов.

— Что ты! — взволнованно шептал он опешившему от такого предложения Максиму. — Никто ведь не найдет, потому что никто из следаков никогда не поймет мотива для убийства. Никто не въедет, зачем надо было прикончить ту или иную чиновничью крысу.

Генка даже план соответствующий для замачивания первой жертвы прикинул. Говорил, что дальше надо будет расширяться, казнить душителей новых идей, изобретений, лекарств и прочих гадов. Словом, его еле удалось уговорить не становиться доморощенным палачом. Потому что одного душителя таланта убьешь, а на его место встанут десять новых. Генка с большим трудом отказался от роли неуловимого мстителя.

Но другие артисты, особенно из сериалов, в которых Максиму доводилось участвовать, были в таком восторге от себя, настолько были в себя влюблены, что создавалось неприличное ощущение, что они, по идее, должны заниматься онанизмом, иметь и удовлетворять только себя самих, чтобы ни в коем случае не тратить энергию на других. На женщин! Ненасытная любовь к себе — нарциссу, не нуждается во взаимности. И на этот сериальный актерский обезьянник Максим смотрел, с трудом скрывая отвращение не испорченного средой человека, то есть — не поддавшегося тлетворному влиянию актерской среды, хотя временами поддаваться разным искушениям очень хотелось.

Оно в наблюдаемых им персонах проявлялось иногда довольно комично. Одна актриса, обладавшая всеми титулами и регалиями, какие только возможны при этой профессии, как-то под большим секретом рассказала Максиму о своем романе с Высоцким и о том, что именно ей он посвятил свою известную всем песню «А что ей до того, она была в Париже» и т. д. Но так случилось, что через несколько месяцев он летел на один из многочисленных теперь кинофестивалей. В ожидании посадки в самолет он коротал время в кафе рядом с актрисой, тоже

летевшей на этот фестиваль. После второго бокала вина эта актриса, не менее знаменитая и заслуженная, чем первая, под большим опять-таки секретом поведала ему о том, что у нее, когда она была помоложе, случился краткосрочный, но бурный роман с Высоцким, и что, оказывается, именно ей он посвятил свою песню «А что ей до того, она была в Париже». Видно, в яркое и пышное соцветие их собственной славы им обоим необходимо было для полноты картины добавить еще один бутон — заметный, интригующий, волнующий (или как говорят в их среде, «волнительный») штрих — роман с выдающимся человеком, бардом, чье имя было тогда у всех на устах. Да-а! Не всякой женщине, не каждой актрисе такие (!) люди посвящают песни! И как же в таком случае удержаться от романа, как не поддаться песенным чарам автора. Из двух эпизодов Максим сделал один-единственный вывод: Владимир Семенович (о чем и так все знают) — был ба-а-альшой ходок. «Именно» первой и «именно» второй чудесной актрисе он посвятил вот эти строчки «она была в Париже», и один Бог ведает, кого «именно» еще из бывших в Париже дам он столь щедро одарил одной и той же песней.

Ну какого черта! Вот! Звонят на мобильный и спрашивают — какие фрукты к столу на банкете? Ну откуда я знаю — какие! Еще этим мне не хватало заниматься! Любые! Фрукты других стран, где растут бананы, ананасы, папайя, маракуйя — что там еще! Можно и наши, если любите кислятину — смородину, клюкву, бруснику, чернику, морошку — тоже, между прочим, нехилый выбор. Но — на любителя. У нашего народа, а значит, и у гостей тяга к бананам — огромна! Как и к латиноамериканским танцам и сериалам. Так, недавно все тащились от ламбады, например. Мексика заразил нас любовью к сериалам, жгучим отношениям и текиле. И сериалы у нас теперь свои. Их стряпают, как вокзальные пирожки и хот-доги.

«Э-э! Да что там! Что-то рано я начал брюзжать — подумал Максим, — сорок лет, а я уже старая зануда. Вопрос о фруктах к столу так взбесил?! Неадекватно! Или юбилей тому виной? Говорят, у многих людей перед днем рождения появляется этакий вялотекущий психоз. Все! Надо не ворчать, не презирать, не портить настроение, а лечь и, может быть, даже вздремнуть. До этого трепаного торжества еще целых три часа». Максим лег на диван, закинул руки за голову и устался в потолок. Сон не шел, даже дремоты не было. Воспоминания всякие

лезли в голову. И почему вдруг эти, а не какие-то другие, Максим не знал. Темные закоулки подсознания, метания заблудившейся накануне юбилея — души. Он решил не сопротивляться, закрыл глаза и вспомнил, кстати, заголовок альбома любимого композитора его родителей, да и нескольких последующих поколений: «По волнам моей памяти». Волны тихо качали утомленную злыми мыслями голову артиста Зимина-Буратинова, но сон почему-то не навевали, а несли его по течению, мягко принуждая перелистывать случайные страницы биографии и вспоминать то, что тогда казалось совсем неважным.

## **ГЛАВА 2. ВОСПОМИНАНИЯ О ЮНОМ ЗИМИНЕ. ВОСПОМИНАНИЕ ПЕРВОЕ. О ДРУГОМ ТЕАТРЕ**

После дурацкого похищения над ним смеялись и его долго подкалывали друзья, которым он имел неосторожность о своем приключении рассказать. Сам, рассказывая, шутил, что оказался в роли лермонтовской Бэлы, а девица — в роли Печорина. Это тоже было неосторожно. Он-то рассчитывал, что друзья оценят шутку, вникнут, как и он сам, в юмористическую сторону его приключения... Но нет! Глумливые друзья и коллеги тут же наградили его устойчивой кличкой Бэла, и это несмываемое пятно позора держалось целый год, пока им самим не надоело.

Вскоре после начала сезона Максим вдруг получил лестное приглашение от одного очень солидного и популярного театра. Приглашение на центральную роль в известной и любимой пьесе. Нет, из своего театра уходить было необязательно, никто и не требовал... пока. Всего лишь совмещение. Он и пошел. Для начала познакомился с главной режиссершей, должность и наружность которой вполне соответствовала Атаманше из сказки «Снежная королева». Начало несколько обескуражило молодого артиста. Солидная, грузная режиссерша, поправляя на могучих плечах останки убитых шиншилл, с порога подошла к Максиму, оглядела его с головы до ног, потом вынула изо рта сигарету и крепко поцеловала в лицо, рядом с губами. Странно, но потом оказалось — объяснимо.

Он начал репетировать. В этом театре все было пропитано какими-то замшелыми традициями и приметам, которые, в принципе, только мешали. Маститые артисты вели себя как традиционно маститые. Как только выйдет на сцену (да и в жиз-

ни так же), как только важно произнесет первую фразу (даже простое «здравствуйте») — сразу становится ясно — маститый. Одного из своих партнеров Максим знал и уважал с детства. На него довольно рано обрушилась слава и раздавила его. И под ее обломками он дальше и жил. Руины былой славы поддерживали в «маститом» уверенность в собственной значимости. Развалины Колизея — по сути всего лишь развалины, но они — история, легенда, и все ходят смотреть.

Хоть и молодой, но не по годам умный и хорошо воспитанный юноша уже тогда задумывался над типичными судьбами многих артистов, наблюдая за очень солидным поведением пожилых и карьерными судорогами молодых. Жизненный путь почти каждого, пусть даже весьма успешного пожилого артиста был банальным и скрытно, о чем он и сам не ведал, — драматичным. Ну сами посудите: сначала он бился, чтобы его услышали, увидели, затем поняли, затем — полюбили. Но в целом — не вышло. И тогда вместо прежних идеалов — лишь два интереса: успех и деньги. И особенно жалким было его поведение в отношении противоположного пола. Он пребывал в постоянной и устойчивой иллюзии, что все женщины его хотят. И каждой новой знакомой, и в первую очередь новоприбывшей в их театр молодой актрисе, об этом рассказывал. Жаловался ей насчет того, как он утомлен от постоянного и назойливого женского внимания, давая тем самым юной актрисе шанс посочувствовать ему в постели. Уважая и любя! Ах, эта чертова популярность! Проклятая неотразимость! Однако я же не виноват, что природа наградила меня таким талантом и внешностью! Судьба! И что поделаешь. Надо нести свой крест достойно.

Через пару недель репетиций Максим попал в стальные клещи своей уже судьбы, которая поставила его перед конкретным выбором. Главная режиссерша часто просила приближенных актеров помассировать ей плечи и шейный отдел позвоночника. Но еще чаще такая просьба адресовалась новобранцам, недавно принятым в труппу. Кого попросила и кто исполнил массаж — тот уже входит в ближний круг, получает большие и выгодные роли, а кто отказался — будет иметь вторые роли, исполнять «кушать подано» и рискует оказаться незамеченным театральной общественностью и ангажированной режиссершей критикой. То есть биография может затормозиться. И не отказывался почти никто. Но Максим не смог себя пересилить, не пошел на массаж, когда у верной продолжательницы дела великого Станиславского возник опасный рецидив симпатии к юному и

стройному таланту. После отказа оказать посильную помощь шейному отделу ее позвоночника путь вперед был отрезан, можно было только назад, в свой родной театр. Максим сразу это почувствовал. Репетиции продолжались все реже и реже, перспектива намеченной через два месяца премьеры стала растворяться в тумане неизвестности и невнимании со стороны партнеров, которые будто узнали или догадались о возникшей немилости главной режиссерши и, следовательно, неизбежной опале и забвении этого спектакля, и стали игнорировать репетиции, чтобы самим не попасть в черный список труппы. Ах, это высокое искусство, небесные струны, чистота помыслов и стремление сделать окружающий мир хоть немного благороднее и лучше! Ну да, ну да, конечно, однако шейный отдел позвоночника все равно победит идеалы и растопчет мечту о Прекрасном! Короче, Максим вернулся тогда в свой театр и налево больше не ходил, ибо его театр по сравнению с тем казался теперь младшей группой духовной семинарии.

Почему-то врезаются в память какие-то пустяки, детали, имена, названия улиц, ощущения, запахи, воспоминания о том, что видел лишь мельком и ничего при этом не чувствовал, поэтому зачем? Почему они остались в твоей памяти, никуда не уходят, что в них такого, что они остались? Непостижимо! Почему в г. Могилеве, куда приехал с песенными концертами и с гитарой, он обращал внимание на что-то побочное, а то, как шли концерты, что за публика сидела, как принимали, что пел и что им понравилось больше всего, — бесследно исчезло из памяти, стерлось. Но осталось, например, то, что там был перекресток улиц Вавилова и Лысенко, двух научных противоположностей, консерватора и гробовщика научных оппонентов, с одной стороны, и великого ученого — с другой. А может, именно потому и перекресток... Хотя, конечно, чудно. В Могилеве он узнал от местных совершенно для него бесполезную вещь, что в тридцатых годах прошлого века (!) первым секретарем обкома партии был некий Рувим Шуб, который приказал срыть липовую аллею, так как она, по его выражению, «нарушает индустриальный пейзаж города». Там же почему-то было около дюжины Брикетных улиц — 1-я Брикетная, 2-я Брикетная и т. д. Названия были напрочь лишены обаяния и человечности. Вне всякой связи с Брикетными улицами вдруг вспомнилось, что его отец, Платон Сергеевич, рассказывал, как в голодное, пустоприлавочное время в каждом почти мужчине просыпалось первобытное чувство

добытчика. Как добытчик возвращался в пещеру с куском дичи, «так и мы тогда, — говорил отец, принеся домой сумку со всякой, в сущности, чепухой, — ждали, что после каждого выложенного на стол предмета будут раздаваться крики радости. Поэтому прямо с порога властно звали: Люда, Галя, Груня! Чтоб видела... И чтобы встречала аплодисментами пачку маргарина и овациями — плавленый сырок».

В ту пору население выживало благодаря натуральному хозяйству (выращиванию овощей на шести сотках, с отдельным «спасибо» картофелю), а также браконьерству и обычной рыбной ловле. Пьяный рыбак на пляже, отчаянно матерясь при детях, рассказывал о том, как он вчера на этом месте добыл обед для своей семьи, потому что поймал «вот такого леща». Интеллигент Платон Сергеевич не побоялся тогда сделать замечание матерщиннику, на что тот не полез в драку, как можно было ожидать, а напротив, мягко и тоже вполне интеллигентно возразил:

— Дыкя же про леща рассказываю, товарищ. А про леща без мата нельзя. Никак нельзя! — убежденно повторил он, мгновенно представив себе, как это он будет говорить без мата о таком волнующем моменте, когда он леща подсекал и вытаскивал.

Да что там — лещ! Крупный, мелкий — какая разница! Вот придумать бы сказку, сценарий для кино, скажем, о ловце русалок на наживку. Какая вот только наживка привлечет русалок — надо сообразить... Вот он их ловит, поразвлекается и отпускает. И наконец поймал такую, которая в конце концов его и погубила.

«Вот лихой фильмец получился бы, — думал Максим, — клевый!»

Каламбур относительно «клева» напрашивался с назойливой веселостью.

Максимов папа Платон Сергеевич никогда ничего не говорил и не вспоминал просто так. Теперь-то Максим понимал, что там был всегда латентный, недоступный на первый взгляд смысл, скрытая ненавязчивая мораль, мягкое воспитание.

— Стою, — говорил он, — на площади. И не кого-нибудь, а Пушкина площади. Смотрю на облака. А рядом беснуются политики, у них там трибуна, микрофоны. Не помню уж, когда именно, но ясно, что девяностые годы. Какой-то праздник. А митинг у них — чаще всего в праздник. Там кричат в небольшую собравшуюся толпу. Лица в толпе наполнены патриотическим экстазом. Глаза светятся от счастья, от сознания личного участия в политической жизни страны. А я на облака смотрю. Подошел чело-

век, посмотрел вверх, в том направлении, куда я смотрю. Может, там, наверно, что-то дура? Не увидел. Тогда спросил: «Чего там?» — «Облака», — отвечаю. «Кислотные, радиоактивные?» — встревожился прохожий, ничего кроме гадости не предполагавший. «Нет, просто облака», — улыбнулся я. Мужчина посмотрел на меня как на конченого психа. Спросил: «Зачем?» В смысле — зачем я без всякой пользы глазею на небо? «Да так... — отвечаю. — Просто так...» Мужик отошел, испуганно оглядываясь. — Отец помолчал и добавил: — Представляешь, в стране уже давно никто на облака не смотрит... просто так...

И последняя фраза позволяла правильно оценить то, что отец имел в виду. Ну, в целом, то, что Солженицын как-то раз написал: «Чем размашистее идет в стране политическая жизнь, тем более утрачивается жизнь духовная...» Или душевная, не помню точно...

«Перед каждым днем рождения всегда какая-то смута в душе, — подверг Максим психоанализу эту самую смуту. — А перед круглой датой — в особенности. Четко помню, что перед тридцатилетием было то же самое — раздраз какой-то, смута, маета. Чего-то хочется, а чего — не знаешь. А сегодня я бы даже по-другому выразился: чего-то хочется, а кого — не знаю. — Максим улыбнулся себе. — Ну, это понятно. Никого ведь нет. Давно уже один. Случайные связи — не в счет, это несерьезно. Да и найти кого-то стоящего в нашем “городе контрастов” — совсем нелегко. В Лужниках, куда в бассейн хожу, в туалете табличка над раковиной: “Запрещается мыть ноги, обувь и стирать”. А напротив туалета — рекламный щит из другого мира: “Интервальный паевой, инвестиционный фонд смешанных инвестиций”, в котором каждое слово загадочно. И название фонда завораживает и привлекает — “Смелый”. Фонд “Смелый”! Типа, допустим, коммерческий (а какой же еще!) банк “Наглый». Ну, наглый — не наглый, а тем не менее банк “Единственный” в Лужниках тоже есть. А как вам нравится “нулевое чтение наших политических амбиций”, продекларированное председателем лидирующей партии страны? И что такое вообще — “нулевое чтение”? Тяжело такое понять кому-то, кто хорошо учился и воспитывался на лучших образцах литературы. “Нулевое чтение” Пушкина и Чехова? Неслабо, да? Смешно, конечно, наевшись “нулевыми чтениями политических амбиций”, оказаться, скажем, на гастролях в уважаемой, спокойной, буржуазной Швейцарии и рядом в крохотном французском городке Гайар первым делом в гостинице прочесть уве-

домление на русском языке: “Воду из-под крана можно пить”. Увидеть ставни на окнах даже на третьем этаже, а впереди за твоим окном — горы, услышать поразительную тишину, почувствовать очень чистый воздух, моментально забыть о том, что существуют пробки, обнаружить, что тут много парковок в строго отведенных местах, чаще всего — подземных. Всем все удобно, ничто не нервирует, не раздражает, даже немного скучно. Во двориках их двух- и трехэтажных шале можно увидеть развешанное на веревках белье; там же часто встречаются серьезные собаки со строгим выражением морд, преимущественно немецкие овчарки. И все-все, чтобы было уютно и удобно. Например, на большое дерево прибиты дощечки. Получается что-то вроде лестницы, так, чтобы их детям было удобно лазить. Комфорт соблюдается даже в лазанье по деревьям! Скука смертная! То ли дело у нас! Кто-нибудь из них пробовал хоть раз помыть ноги в раковине? А?! То-то! А вот эти ваши буржуйские радости типа самого популярного и дешевого блюда в гостях под названием “фондю”! Плавающий на огне сыр, в который макаются кусочки белого хлеба. Прибавление в весе минимум на 3 кг гарантировано. Но артисты ели с аппетитом и советским энтузиазмом, чтобы потом сэкономить на еде. Ну что поделаешь, так уж мы воспитаны, в таких условиях выросли. Поэтому халява на шведском столе — устойчивый рефлекс наших артистов-гастролеров. В недавнем прошлом, а у многих и теперь, даже если есть деньги. И поэтому одна пренароднейшая артистка на тех же гастролях в гостях пищевой цепочкой не ограничилась, ее халявный аппетит возрос до такой степени, что остальным членам труппы стало за нее даже как-то неудобно. На шведский стол она без пакета не приходила и сметала туда с полка все, что попадалось под руку, а тогда в гостях она более чем прозрачно намекала хозяевам на то, какие подарки от них она хотела бы получить. Пакет, заблаговременно взятый с собой в гости, был уже набит провиантом с хозяйского стола. Но дополнительно ей понравилось синее пальто, висевшее в прихожей. В нем хозяйка выводила гулять собаку. Но артистке понравилось. Она сказала, что это пальто очень подходит для спектакля, премьеры которого состоится через месяц. Пальто было ей тут же подарено. Его, пожалуй, не стыдно было бы надеть на рынок, скажем, в Костроме, не сильно выделяясь среди жителей, но отчего же не взять, когда можно. Ведь не покупать же! К тому же пускай будет любая тряпка, но она же из Швейцарии, там и ярлык есть. В прихожей еще и шляпа висела... Ну как





тут было мимо пройти, уехать без нее. Она примерила. Шляпа сползала ей на глаза и была того же класса, что и пальто, в нее нормально было бы собирать подаяние, но всенародную артистку это не смущало.

— Как же мне шляпа ваша нравится, — пропела она, глядя на хозяйку с упорной, целеустремленной мольбой.

И та, уже смеясь, подарила и шляпу.

— Чмо! — прошептала рядом с Максимом молодая актриса, недавно принятая в труппу их театра. — Ну просто чмо!

Что-то я тогда ответил... очень патриотичное... все, кто был рядом, помню, засмеялись, — а-а! Вот! Я сказал: "Позорит страну". — "Роняет престиж"», — добавил кто-то из ребят.

Феноменальная жадность этой тетки распротранялась на все, особенно если дело касалось профессии. Если она вела на сцене диалог, то непременно разворачивала партнера или партнершу так, чтобы она стояла к залу лицом, а партнер — спиной. Для этого много не надо, такой нехитрый прием знают все артисты: всего-то сделать полшага назад, и тогда коллега вынужден будет повернуться лицом к ней, а зал его лица — не увидит, даже если он в этот момент выкладывает полностью, может быть, даже плачет. Но зато зрители увидят ее красивое лицо, полное скорби, и подумают: какая чудесная актриса, как она умеет слушать партнера и сочувствовать, сострадать.

Но с особенной силой широта ее не слишком широкой души проявлялась в кинематографе. Так

получилось, что она озвучила множество известных ролей в кино. То есть на экране была одна актриса, а за кадром — другая, чьим голосом, получалось, первая и разговаривала. К сожалению, голос всенародной актрисы подходил слишком уж многим кинозвездам, чей природный голос подходил меньше. И она часто дарила им свой неповторимый тембр. А «к сожалению» для нее потому, что на подарки она была физически неспособна и ни в одном проявлении щедрости она никогда замечена не была. Поэтому она адски злилась на актрис, которые разговаривали на экране ее голосом. Злилась всю жизнь, даже если фильму было лет тридцать-сорок. Она не могла простить кинозвездам того, что им достались все лавры, а она за кадром и вроде как ни при чем, хотя именно ее голос обеспечил успех роли, но об этом знает лишь ничтожное количество людей. Поэтому она никогда не упускала случая открыть глаза наивным теле- и кинозрителям на подлинную правду: мол, если б не она, хо-хо! Кто бы эту актриску-пустышку сейчас знал! В любых телеэфирах, в любых интервью эта жадина, увешанная уже всеми возможными лаврами, злобно намекала на несправедливую с ее точки зрения расстановку сил в кинематографе. Актрисы, в чей огород она швыряла камни, относились к ее нападкам с оскорбительным спокойствием, что, однако, было еще больше.

«Чего я о ней вспомнил, а? Перед юбилеем своим? Что же это всякая гадость в голову лезет? Чего же не вспоминается что-нибудь хорошее или хотя бы — смешное? Ведь есть — что! Ведь можно же подивиться тому, какая все-таки интересная жизнь у артистов! Какой невероятный диапазон ролей! Взять, к примеру, замечательного артиста А. Калягина! Ведь подумать только — от кота Леопольда до Ленина! Причем в одно телевизионное утро! Какие изломанные линии биографии! А? А в середине еще незабываемый женский образ тетки Чарлей! Нет, что ни говори, а профессия увлекательнейшая! Вот сталевар, он и есть сталевар. Всю жизнь! А тут — ни фиги себе — вчера кот, а завтра вождь мирового пролетариата, автор бессмертных “Апрельских тезисов”... Кот тоже, подчиняясь законам природы, мог бы сочинить, скажем, “мартовские тезисы” мартовского кота — однако не будем углубляться в эту тему до такой степени. А про телевидение! Сколько всего можно вспомнить!» Но... в последнее время он отказывается участвовать во всяких там ток-шоу, в которых плохо воспитанные люди бесцеремонно перебивают друг друга, орут одновременно каждый о своем, и все это не имеет ни малей-

шего значения, ибо эти крикуны ровным счетом ничего не решают, но их птичий базар — на всех главных каналах! Да и вообще, все как-то уже распределилось у них по жанрам, по направлениям: завлекашки, удивляшки, ободряшки и чернушки (предпочтение — сенсациям, даже абсолютно лживым). В последнее время огромное телепространство заняли юморяшки и бесчисленное множество кулинарных шоу. И, значит, доминировали две завлекашки — ржать и жрать! Переставляется лишь одна буква. По всем этим причинам он на ТВ ходить перестал. Отказывался под разными предлогами.

Но недавно на одну программу согласился. Подумал: детская же! Ничего дурного быть не может. Благородно. Пойду. Пригласили в жюри песенного конкурса для детей. Дети... Пойду, посижу. А там увидел детей, в чью песенную жизнь, наверное, были инвестированы серьезные деньги. И пели дети так, как подсмотрели на все том же ТВ их родители. Дети пели, как кто-то уже пел или поет, как Уитни Хьюстон, как Бритни Спирс, как Дима Билан, наконец, который тоже поет, как кто-то в Америке. Индивидуальность — на нуле. Один лишь трогательный грузинский ребенок наградил свое исполнение национальным колоритом: он держал микрофон, высоко отставив локоть, как тамада держит рог или бокал во время произнесения тоста. И мизинчик не забыл — в сторону отставить. За одно лишь это ему следовало отдать голос. Максим и отдал. Жаль, другие члены жюри не поддержали.

А давно, лет пятнадцать назад, когда все только начиналось, а денег было мало, поехал на гастроль с концертной бригадой, которую сколотил предприимчивый артист их театра, ну тот, пожилой мастер, который молодым всем артисткам хвастал, как ему не дают прохода многочисленные поклонницы, что вот недавно — ну еле отбился. Он таким образом юной артистке намекал, что есть вакантное место и ей, возможно, откроется доступ к телу патриарха, что он на нее не случайно обратил внимание и что, мол, пока не поздно, пусть она воспользуется. Он, наверное, и поездку ту организовал, чтобы спокойно, вдали от семьи, завязать интимные отношения с барышней, принятой в труппу в этом сезоне. Все то время, пока Максим в театре работал, этот бонвиван, который просил себя называть не Георгием Натановичем, а только Жорой и на «ты», на каждую репетицию приходил в новой одежде, другом прикиде. Максим все время удивлялся, что Жора покупает столько одежды и обуви, будто собирается жить вечно. А Жора просто кокетничал, он просто хо-

тел новой, яркой окраской привлечь внимание предпологаемой самки, возможной партнерши. Сердцеед Жора о своих любовных приключениях рассказывал не только девушкам, но и всем, кто не отказывался его слушать. И у этих новичков создавалось совершенно ложное впечатление, что он — жуткий бабник.

— Это была потрясающая женщина, — рассказывал он о своей очередной победе над женской верностью своему мужу, — сорок пять, изумительно выглядела.

— Откуда вы знаете, что ей сорок пять? — однажды скептически поинтересовался Максим. — Она что, сама об этом сказала?

— Нет, ну примерно лет сорок пять...

— А-а, ну в таком случае, представляете, если ей в действительности двадцать пять, а не сорок пять, то выходит, она для своих лет выглядит не изумительно, а ужасно. Все, получается, относительно.

Но Георгия никакой скепсис не смущал, недоверие к его победам не трогало, он гнул бесконечно свою линию, но по сути был этаким бабником-теоретиком, без практики, к тому же находящимся под каблуком у жены, которой он также непрестанно рассказывал обо всех своих флиртах и амурных успехах местного значения, то есть внутри театра. Он при этом не понимал, что мелко и подло закладывает женщин, которые имели неосторожность с ним пококетничать или даже просто улыбнуться ему в коридоре, проходя мимо.

Все это обнаруживало в Жоре тяжелый комплекс неудачника, который всю жизнь испытывал дефицит в женском внимании. Он возглавил концертное турне, надеясь в нем завязать отношения с юной дебютанткой и тем самым дефицит этот восполнить.

Администратор гостиницы в Нижнем Тагиле обладал специфическим черным юмором, которым он не преминул блеснуть при встрече.

— Нашей гостинице пять лет, — сказал он, улыбнувшись всем золотом своих зубов, — но выглядит она на все семьдесят.

Уставшие путники вежливо хихикнули. Но вечером, на концерте, они почувствовали все ненавязчивое обаяние города, его неповторимую прелесть. Концерт был посвящен 8 Марта. Короткий трехдневный отгул в театре был использован Георгием Натановичем с пользой, в плане, как тогда говорили, борьбы с нищетой. Тут же выяснилось, что в зале четыреста мест, и почти все они заняты женщинами с мужскими профессиями — металлургов и путевых рабочих. Об этом сообщила

пьяная директор дворца культуры, сопроводив встречу словами, предупреждающими о возможной опасности:

— Ну, глядите! Здесь, ребята, четыреста баб, и все по двести пятьдесят уже выпили. Так что смотрите!

А чего смотреть-то?! Глаза Георгия тут же покрылись масляной пленкой теплой надежды, а потом заблестели хищным охотничьим азартом. Инстинкт бабника-теоретика обещал перейти в долгожданное практическое русло. Директриса и сама, в общем-то, ничего себе, предупредила об опасности! Кого?! Георгия?! Это то же самое, что напугать ежа голой жопой. Жоре не страшно, а напротив — сулит послеконцертные любовные утехи с одной или несколькими путевыми работницами, пока юная актриса еще не поддастся его чарам.

Впрочем, опять не вышло ни черта, ибо пьяные обходчицы после концерта повисли в основном на Максиме, который наотрез отказался ответить на любовь, а Жоре досталась бухгалтер предприятия, которая, похоже, оказалась пьянее всех. Во время концерта она вела себя так, что могла бы шокировать даже обезьяну. Да и лицо у нее было, мягко говоря, немиловидным и способно было озадачить таракана у помойки, который навиделся всякого и уже ничему не удивлялся. Однако Георгий, судя по всему, не пренебрег и потом удалился с бухгалтершей, как говорил Киса Воробьянинов, «в номера».

Серая от ужаса пережитого в «номерах» физиономия любовного экстремала показалась утром на пороге Максимова номера со словами:

— Представляешь, у нее между грудей синяя татуировка «Валя». Я это только утром увидел.

— А если бы вечером, отказался бы?

— Так чтоб увидеть, надо было сначала раздеться! А я испугался. Такой страшной у меня еще никогда не было. Поэтому я боялся, что у меня ничего не выйдет. Элементарно — не встанет. У тебя пива нет?

— На, минералку открой. Потом пива выпьешь... И что? Как же ты выпутался из позорного положения? — издевался Максим над неудержимой похотью старшего товарища.

— Да как, как! Пришлось воображение подключать. Свет я погасил, она стала раздеваться, и я в зеркале вдруг увидел у нее белую, молодую, упругую, наверное, жопу, такую, что эрекция все-таки пришла.

— Ну, поздравляю, — улыбался Максим.

— Да подожди. Все не так просто. Утром одеваюсь, а она спит еще, встал перед зеркалом и

вдруг понял, что возбудился я ночью от собственной жопы. Ракурс такой был... А еще эта татуировка совсем добила.

Максим хохотал.

А затем был концерт в районе. Гуляли внутренние органы, они сами себя называли ментами. В буфете стоял коньяк, скорее всего, местного разлива. Но название на ценнике намекало на его благородное происхождение: «коньяк Банард. 266 руб.» А рядом еще один образец местной грамотности — сало «Шпик». Надо полагать, специально для разведчиков. Менты веселились вовсю, пели, а внизу в том же здании били стекла. Наверное, назло гуляющим. Однако отдых — значит, отдых! Как поется в песне, «Кто воевал, имеет право у тихой речки отдохнуть». Поэтому никто из ментов к хулиганам не вышел. И те продолжали еще минут десять безнаказанно бить стекла.

— Ну все, пора, наверное, вставать. Костюм надевать, галстук завязывать. А то соберутся все, а виновника этого гребаного торжества нет. Неужливо. Как бы ко всяким юбилеям, тем более — к своему — не относился. Вот когда по-домашнему, среди близких — все иначе. Теплее, сердечнее...

Максим вспомнил замечательную, добрую маму Джульетты, первой своей по-настоящему сильной любви, которую никто не хотел называть Джульеттой (как ни странно — по паспорту), а все звали попроще — Юлькой. Мама Юльки очень-очень хотела видеть Максима своим зятем и испытывала к нему такую симпатию, которая внушала даже некоторые сомнения в том, что ее чувства носят исключительно материнский характер. Краснела, как скромная девушка, смущалась, когда Максим приходил к ним в дом или на дачу.

— Вот, угощайтесь, Максим. Ешьте. Все свое, с огорода. Свои огурчики, салат, своя петруш-

ка. — И тут очередь дошла до паштета из печени, а она по инерции продолжила: — Своя печенка. — Через секунду поняла, что ляпнула что-то несурзачное, и тут еще больше зарделась, закрыла рот рукой.

Чудесная мама! Жаль, дочь оказалась не в нее.

Некстати Максим вспомнил свою первую любовь. Воспоминание будто вновь пригвоздило его к постели, и он понял, что придется ему отдаться, как это ни больно. «А-а, да бог с ним! — решил он. — Еще час можно поваляться. Через час поеду в театр. Не опоздаю».

Максим знал, что если уж наткнулся на эту тему в своих воспоминаниях, то она его теперь не отпустит, придется эту чашу выпить до дна, а то терзает и настроение угробит совсем.

Более того, необходимо такому чрезвычайно важному фрагменту биографии посвятить, не скупясь, отдельную часть воспоминаний. Именно перед серьезной датой подытожить наконец то, что случилось, а затем вычеркнуть из памяти, не оглядываясь больше и попытаться начать совсем-совсем новую, другую жизнь, в которой, быть может, появится другая женщина, не уменяющая вот так просто причинить боль и уйти, будто ничего и не было.

Пусть Максим погружается теперь в свое тяжелое воспоминание в надежде избавиться от него навсегда, а мы расскажем эту историю за него, тем более что он сам, давась своим горем, неоднократно рассказывал ее всем своим друзьям, и внятному изложению постоянно мешали душившие его слезы, а судорожные рыдания портили дикцию.

Окончание следует.